



АПОСТАЗИЯ

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

18+

Александр Козлов

Апостазия

«Автор»

2026

Козлов А.

Апостазия / А. Козлов — «Автор», 2026

Рада, бывшая учительница, потерявшая ученика и веру в себя, устраивается сиделкой в закрытый пансионат «Апостазия» — место, где содержат пациентов с редким неврологическим расстройством. Эти люди не могут прикасаться к тем, кого любят: любой тактильный контакт вызывает у них приступ неконтролируемой агрессии. Их жизнь проходит за стеклом. Игнат — бывший композитор, один из самых тяжелых пациентов. Он не разговаривает, не выходит из палаты и уже четыре месяца не подпускает к себе никого. Но когда Рада впервые стучится в его дверь, происходит невозможное: он садится за пианино и начинает играть. Для нее. Так начинается история любви, которой не должно случиться. Любви на расстоянии вытянутой руки, через стекло, записки и мелодии, написанные ночью. Любви, которая требует невозможного — прикосновения, способного убить. Визуальное оформление обложки выполнено при поддержке ИИ-сервисов «Алиса Про» и GigaChat

© Козлов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Завтра так завтра	5
Глава 2. Парта, за которой больше никто не нарисует	9
Глава 3. Я научусь быть рядом	13
Глава 4. Не входить без стука, не прикасаться без разрешения	16

Александр Козлов

Апостазия

Глава 1. Завтра так завтра

В любви ей впервые признались через стекло. Самое обычное стекло.

Темным октябрьским утром Рада мыла тарелку в съемной квартире. Ее взгляд упал на отражение в зеркале: тридцать один год, мокрые волосы, старая футболка, которая из белой превратилась в серую. Не потому, что сэкономила на новой, а потому, что на майке вручную вышит дорогой ее сердцу логотип педагогической конференции.

«В какой момент, — подумала Рада, — моя жизнь стала походить на эту вещь — выцветшую, одинокую, пахнущую казенным стиральным порошком?»

Вода текла чуть теплая. Бойлер сломался неделю назад, и Рада все тянула со звонком мастеру — сперва из-за педсовета, затем из-за проверки контрольных, а потом просто забыла. Она вообще многое откладывала в последнее время. Губка скользила по фарфоровой тарелке — всегда одной и той же, как и вилка, которая терпеливо дожидалась своей очереди.

Рада закрыла кран и вытерла руки полотенцем, которое давно пора сменить. На кухонном столе, прислоненная к сахарнице, стояла открытка. Мама присылала их исправно, раз в месяц, с одними и теми же словами: «Радочка, ну когда ты уже познакомишься с кем-нибудь? Тебе не двадцать лет, чтобы откладывать на потом». Рада перевернула карточку лицом к стене. Та постояла секунду и упала. Она не стала поднимать. Просто замерла и смотрела, как бумажный прямоугольник лежит на полу.

В семь лет она тоже замерла и смотрела, как отец закрывает за собой дверь. Стояла в прихожей и наблюдала за ним. Отец не спешил, а медленно, даже слишком, застегивал пальто, не поднимая глаз. «Ты у меня сильная, Радка, — единственное, что сказал тогда, — справишься», — и ушел. Семилетняя девочка не поняла, что это прощание. Но ее тело запомнило: холод в животе, дрожь в коленях, желание вцепиться в его пальто и не отпустить.

Не вцепилась — просто замерла, глядя, как закрывается за ним дверь. Синий стеклянный шарик, который она крепко держала в кулачке, выскользнул из расслабленных пальцев, стукнулся о деревянную половицу и укатился в угол прихожей.

Мать потом сказала: «Видишь? Не надо так сильно любить». А через год, когда умер хомячок и Рада рыдала четвертый день подряд, добавила: «Вот видишь, привязалась и теперь страдаешь. А если бы не привязывалась, не страдала бы».

К тринадцати годам Рада уже не привязывалась. Не заводила близких друзей, не влюблялась в одноклассников и обходила стороной любую живность. Она выстроила вокруг себя прозрачный кокон — стерильный, безмолвный — и научилась называть это самостоятельностью.

Телефон на подоконнике завибрировал.

В мессенджере висело сообщение от Тимофея Ильина из девятого «Б» — того самого мальчика, что всегда сидел у окна и рисовал в тетради по литературе странные узоры. Она делала ему замечания, но не всерьез — узоры выходили красивые, сложные, почти архитектурные.

«Рада Викторовна, можно с вами поговорить? Это важно».

Она посмотрела на часы. Педсовет через сорок минут. Потом проверка контрольных. После еще что-то — уже и не помнила что, но точно знала: сегодня никак.

«Давай завтра, Тима, хорошо?» — набрала в ответ и отложила телефон экраном вниз.

Вода в кране капнула еще раз и затихла.

За стеной у соседей играла музыка — что-то медленное, фортепианное. Мелодия оставалась незнакомой, щемящей. Рада замерла и прислушалась. За последние пять лет у нее не случилось ни одного мужчины, который сыграл бы ей на пианино, — ни одного, кто вообще сыграл бы хоть что-нибудь. Лишь один попытался подойти ближе, чем она позволяла, и тот в итоге обескуражил ее — сказал всю правду в глаза.

Вадим сидел на этой самой кухне два года назад, вертел в пальцах пустую кофейную чашку и молчал, а потом произнес: «Ты любишь только тех, кого нет рядом. Ты любишь не меня, а воспоминание обо мне на расстоянии. Это не любовь, это трусость». Рада не ответила, понимая, что Вадим прав, но признать это означало разобрать по кирпичикам все, на чем она построила свою жизнь. Вадим ушел, а она осталась — в квартире с неработающим бойлером и глухим облегчением под ребрами. Наконец-то одна, и теперь можно ничего не бояться.

Музыка за стеной стихла. Рада перевела взгляд на стопку непроверенных тетрадей — девятый «Б», сочинение на свободную тему. Под обложками лежали детские откровения — иногда наивные, иногда пугающе взрослые. В прошлый раз мальчик из параллельного класса написал эссе о том, что боится родителей. Отец пьет, мать кричит, а он запирается в ванной и включает воду, чтобы не слышать. Рада поставила ему пятерку за честность и ничего не сказала. Сказать — значит вмешаться, вмешаться — значит стать ближе. А с близостью у нее давние и неразрешенные счета.

На кухне гулко загудел холодильник — старый, еще советский «ЗИЛ», оставшийся от прежних жильцов. Рада вздрогнула. Всегда вздрагивала и замирала на секунду, когда он включался — слишком уж звук походил на приближающийся поезд.

Она не стала проверять тетради и в тот вечер. Вместо этого прошла в комнату, сняла с сушилки сухое белье и принялась складывать — носки попарно, рубашки уголок к уголку, как учила мать. Та наставляла ее многому: держать спину прямо, улыбаться, когда хочется плакать, не привязываться к людям, потому что люди уходят. И Рада складывала белье с той же тщательностью, с какой строила свою жизнь, — ровно, аккуратно, без единой складки.

Телефон молчал. Ни звонков, ни сообщений — только рабочий чат в мессенджере, где коллеги обсуждали завтрашнее расписание. Рада полистала ленту и наткнулась на фотографию бывшей однокурсницы: муж, двое детей, пес, загородный дом, субботние блины. Чужая жизнь всегда кажется более настоящей, чем твоя собственная.

Она отложила телефон и вышла на балкон развешивать мокрое белье. Холодный октябрьский воздух обжег пальцы, но она не уходила — стояла, прижимая к груди влажную простыню, и смотрела на соседний дом.

Там, в желтых квадратах окон, двигались люди: одни ужинали, другие обнимались, третьи просто находились рядом друг с другом. На четвертом этаже горел свет. Женщина примерно ее возраста сидела на диване, положив голову мужчине на плечо. Они смотрели телевизор — синеватые отсветы лежали на их лицах, — и мужчина время от времени гладил женщину по волосам. Ничего особенного или выдающегося. Миллионы людей делают то же самое каждый вечер.

Рада поймала себя на том, что улыбается, глядя на них.

И тут же одернула улыбку — резко, как отдергивают руку от горячего. Постояла еще секунду и вернулась в комнату. Закрывает балконную дверь на защелку.

В этой простой сцене — мужчина гладит женщину по волосам — заключалось все, чего Рада так и не испытала в жизни. Она сама воздвигла эти барьеры и научилась жить без них.

Только вот обходиться — не то же самое, что жить.

С балконной двери тянуло холодом — старая резина уплотнителя давно рассохлась. Рада провела ладонью по щели и ничего не стала с этим делать.

Улеглась около полуночи и долго лежала без сна, слушая, как где-то внизу, на улице, ветер гоняет по асфальту сухие листья. Звук напоминал шепот — неразборчивый, но настой-

чивый, — и Раде казалось, что кто-то пытается ей что-то сказать, а она не может расслышать. Сон пришел серый, неглубокий, как вода в осенней луже.

А утром проснулась с ощущением, что воздух в комнате затвердел.

Лежала, не открывая глаз, и прислушивалась к тишине. Та не походила на обычную, предрасветную — за ночь мир потерял еще один слой и стал тоньше, прозрачнее и страшнее. Окно оставалось приоткрыто, но с улицы не доносилось ни звука: ни птиц, ни машин, ни ветра. Город затаил дыхание вместе с ней.

Телефон завибрировал на тумбочке. В нем два сообщения.

Первое — от завуча, сухое, без эмодзи и «доброго утра»: «Рада Викторовна, зайдите ко мне перед первым уроком. Срочно».

Второе — от Тимофея Ильина. Отправлено вчера, в 23:47. Не заметила его перед сном: «Извините, что поздно. Завтра так завтра. Спокойной ночи, Рада Викторовна».

Она перечитала сообщение дважды, и в животе возник знакомый холод. Тот самый, что мучил ее в детстве, когда она стояла в прихожей, а дверь за отцом закрывалась. Что-то не так. Что-то в этом «завтра так завтра» звучало неправильно — как последняя нота в мелодии, которую оборвали раньше времени.

Рада отправила ответ: «Тима, могу остаться сегодня после урока. Все в порядке?»

Сообщение ушло. Минута тянулась за минутой. Пять, десять — молчание затягивалось. Тимофей всегда отвечал мгновенно. Даже по пустякам вроде домашних заданий или переноса контрольной. Сейчас же тишина, густая и вязкая, давила на плечи.

Она встала, умылась ледяной водой, потом сварила кофе. Выпила стоя, не чувствуя вкуса. Зеркало в прихожей отразило женщину с серыми тенями под глазами и волосами, собранными в небрежный хвост. «Ты выглядишь на сорок», — сказала отражению. Отражение никак не отреагировало. Оно вообще редко удостаивало ее ответом в последнее время, а если и разговаривало, то только чужим, маминым голосом.

Рада все-таки убрала волосы в низкий пучок на затылке и надела строгую юбку, блузку, жакет. Учительская броня. Пятнадцать минут на сборы — ровно столько же, сколько всегда. Ни секундой больше, ни мгновения меньше.

До школы шла пешком — два квартала через старый парк. Октябрьский воздух пах прелыми листьями и сырой землей, и этот запах всегда казался ей началом чего-то неизбежного. На скамейке у фонтана сидел бомж и кормил голубей крошками черного хлеба. Голуби толкались, хлопали крыльями, взлетали и снова садились. Рада на секунду остановилась: в этом хаосе существовал какой-то порядок, какая-то простая логика, которую она разучилась видеть в человеческих отношениях. Птицы хотя бы не притворялись: проголодались — поели, захотели в небо — полетели. Все честно.

Она пошла дальше. Мысль о Тимофее не отпускала — тащила следом, как привязанная за ногу консервная банка, и грохотала по асфальту: «Завтра так завтра».

Что-то в этом звучало неправильно, то, чего она пока не могла уловить.

Школа показалась из-за поворота — серое пятиэтажное здание с облупившейся штукатуркой и высокими окнами, за которыми уже горел свет. Рада поправила сумку на плече и ускорила шаг. Через пять минут ее жизнь расколется надвое — на «до» и «после», — и склеить эти половинки обратно не получится уже никогда.

Возле школьной ограды росли три рябины. Ягоды уже сморщились от первых заморозков, но всё еще держались за ветки — красные, горькие, никому не нужные. Рада проходила мимо них каждое утро и всякий раз смотрела на них; сегодня взгляд задержался дольше обычного.

В тот момент она еще не знала, что через три дня будет стоять по ту сторону стеклянной перегородки в хосписе «Апостазия» и прижимать ладонь к холодной поверхности. Мужчина с серыми глазами и редким неврологическим диагнозом ответит тем же — прижмет свою ладонь

напротив. И то, что случится потом, не похоже ни на один прочитанный ею роман, ни на одну любовь, увиденную в чужих желтых окнах.

Диагноз этот не позволяет любимым людям прикасаться друг к другу. Объятие вызывает у больного паническую атаку, а поцелуй — неконтролируемую агрессию. Близость становится опасной в прямом медицинском смысле. Единственный способ находиться рядом — держать дистанцию. Именно такую любовь — запретную, невозможную, запертую за стекло — она, сама того не понимая, искала всю жизнь.

Но все это будет потом. А пока она толкнула тяжелую школьную дверь и вошла внутрь.

Глава 2. Парта, за которой больше никто не нарисует

Школа встретила ее привычным гулом. Пахло мелом, подгоревшей кашей и чем-то еще — тревогой. У тревоги в школе всегда такой запах: смесь хлорки, детского пота и ожидания, застоявшегося в коридорах.

Рада прошла по первому этажу, машинально кивая коллегам. Физрук, обычно громогласный, отвел глаза слишком быстро, почти испуганно, и свернул в спортзал, оборвав приветствие на полуслове. Биологичка, наоборот, задержала взгляд — полный той особенной жалости, какая бывает у людей, знающих то, чего не знаешь ты, но не смеющих сказать.

Холодок пробежал между лопаток. Осенний сквозняк, решила она, вечно гуляющий по первому этажу. Рада плотнее запахнула жакет.

Поднялась на третий этаж, в кабинет завуча. Из приоткрытой двери не доносилось ни звука. Тишина в кабинете Галины Семеновны сама по себе дурной знак. Завуч, как правило, разговаривает по громкой связи и печатает так, что клавиатура трещит на все крыло. Сегодня тишина звенела в ушах громче любого шума.

— Рада Викторовна, присядьте.

Галина Семеновна сидела за столом, сложив руки перед собой. Темно-синий костюм — не тот, что обычно, другой, строже, почти траурный, с глухим воротом и без единого украшения. Завуч избегала смотреть ей в лицо: изучала ручку, край стола, собственные сцепленные пальцы — все, кроме глаз собеседницы.

— Что случилось, Галина Семеновна?

— Тимофей Ильин. Из вашего девятого «Б».

Пол ушел из-под ног.

Тимофей. Тима. Мальчик, который любил сидеть у окна и рисовать в тетради по литературе странные узоры. Она делала ему замечания, но не всерьез — узоры получались красивые, сложные, почти архитектурные. Переплетения линий, напоминавшие то нервюры готических соборов, то сеть капилляров на осеннем кленовом листе. Он рисовал их, склонив голову к плечу, и кончик языка чуть высовывался от усердия — детская привычка, которую он не изжил к девятому классу.

Месяц назад перестал рисовать. Пустые поля, сжатые в нитку губы. Она ничего не спросила. Решила: подростковое, само пройдет. Не прошло.

Две недели назад Тимофей подошел к ней после урока. Она собирала стопку тетрадей, спешила на педсовет, мысленно уже сидела в учительской с остывшим чаем. «Рада Викторовна, можно с вами поговорить?» Голос прозвучал глухо — не вопросительно, почти обреченно. Она подняла глаза на секунду: «Бледный, под глазами тени» — и снова уткнулась в бумаги. «Давай завтра, Тима, у меня педсовет». Мальчик кивнул, отступил на шаг и ушел. Она даже не посмотрела вслед.

Завтра не наступило.

— Повесился вчера вечером. В гараже. Мать нашла, когда он не вернулся к ужину...

Галина Семеновна говорила что-то еще — о полиции, о проверке, о психологе из департамента. Слова скользили мимо, не задерживаясь. Перед Радой стояла пустая парта у окна. Третья во втором ряду. Парта, за которой больше никто не нарисует ни одного узора. Парта, которую завтра заставят пустовать до конца года. В школах всегда оставляют незанятым место ушедшего ученика. Это напоминание о пустоте, которая осталась после него.

— Вы меня слышите, Рада Викторовна?

— Да.

— Я понимаю, это шок. Но я обязана спросить: он вам что-то говорил? Намеки, жалобы? Вы классный руководитель и должны были что-нибудь заметить.

Должна была заметить!

— Он подходил ко мне, — выговорила Рада. — Две недели назад. Хотел поговорить. Я сказала «завтра».

Галина Семеновна закрыла глаза. Помолчала секунд десять. Потом подняла веки и произнесла тихо, без обвинения, с усталостью, накопленной за годы чужих трагедий:

— Понятно.

Рада нахмурилась. Это «понятно» прозвучало равносильно приговору «виновата». Может, только показалось, потому что сама чувствовала себя виноватой.

— Сегодня уроков не будет, — произнесла завуч мрачно. — Можете отпустить детей. И сами можете идти — распоряжение директора.

Рада повернулась к двери.

— Рада Викторовна, — окликнула ее Галина Семеновна. — Детям не следует знать подробности.

«Думает, что я этого не понимаю?» — подумала Рада, а вслух ответила сухо:

— Конечно.

Она вышла из кабинета. Ноги несли сами, перед глазами стояла картина: Тимофей отступает на шаг, кивает, уходит. Спина узкая, подростковая, с проступающими под тканью лопатками — острыми, как нерасправившиеся крылья. Она тогда подумала: «Бледный какой. Не выпался, наверно». И пошла на совещание. Обсуждала успеваемость, составляла график контрольных, кивала коллегам, улыбалась чему-то в учительской. А ее ученик уже решил, что жить незачем.

Пять минут. Всего пять минут отделяли ее от спасения. Она их не нашла. Променяла на скучную повестку, холодный чай и обсуждение успеваемости.

В коридоре толпились ученики — ее девятый «Б». Они уже знали все. Каждый взгляд впивался иглой. Не обвиняли — еще не умели, — но ждали. Ждали, что она скажет что-то правильное, учительское и утешительное. Объяснит, как жить с этой пустотой, как дышать, когда один из них больше не дышит.

Она не могла найти слов.

— Уроков сегодня не будет, — выдавила из себя, отчаянно, борясь с подступающим к горлу спазмом. — Идите по домам. Сразу домой. Пожалуйста.

Дети не сдвинулись с места. Лида, соседка Тимофея по парте, плакала, зажав рот ладонью, вздрагивая всем телом. Денис, главный задира, стоял бледный, точно бумага, и молчал — бравада осыпалась, обнажив растерянного мальчишку, не знающего, куда деть руки. Одна из девочек монотонно шептала: «Этого не может быть, этого не может быть».

Рада прошла мимо них, как сквозь строй. Спустилась на первый этаж, вышла через запасной выход. На ступеньках пожарной лестницы опустилась на холодный бетон и впервые за десять лет заплакала. Не тихо, не интеллигентно, а глухо, страшно, с воем, который зажимала ладонью.

Плакала о Тимофее, которого больше нет. О себе — той, что ничего не заметила. О всех отложенных «потом», так и не ставших «сейчас». О мальчике с узорами на полях тетрадки, который больше никогда не подойдет к ней после урока.

Через час, когда сил плакать не осталось, Рада поднялась, вытерла лицо рукавом и вернулась в школу. В учительской коллеги прятали глаза. Физрук пробормотал что-то про «тяжелый день» и осекся. Биологичка молча пододвинула стакан воды. Рада выпила залпом, не чувствуя вкуса. Забрала из кабинета тетради, журнал, личные вещи и ушла домой пешком — через парк, где утром прохожие кормили голубей. Бомж со скамейки исчез, птицы разлетелись, фонтан молчал. Весь мир выглядел так, будто тоже потерял что-то важное.

Вечером того же дня пришла мать Тимофея.

Звонок прозвучал коротко. Казалось, тот, кто звонил, долго сомневался, стоит ли это делать. Рада открыла дверь и застыла на месте.

На пороге стояла женщина, постаревшая на десять лет за несколько часов. Серое лицо, запавшие виски. Глаза — сухие, безжизненные, как у человека, который выплакал все до последней капли там, в гараже, где нашли Тимофея. В них не осталось слез — только пустота, тяжелая и густая.

В руках она держала тетрадь — ту самую, по литературе, с узорами на полях. Протянула Раде. Когда та взялась за край, пальцы матери не разжались сразу. Короткая немая пауза — борьба между долгом отдать и желанием удержать последнее. Потом пальцы дрогнули и разжались.

Рада взяла тетрадь обеими руками. Открыла.

На полях — узоры. Она водила пальцем по линиям, и перед глазами возникал Тимофей: склоненная голова, чуть высунутый язык, сложные переплетения штрихов. Конспекты аккуратные, с выделенными заголовками и подчеркнутыми терминами. Старательный, умный ученик.

На последней странице — записка. Неровный почерк, чернила расплылись в одном месте.

«Рада Викторовна, я хотел сказать вам тогда, после урока. Но вы спешили. Я не виню вас. Я никого не виню. Просто устал. Не понимаю, зачем все это. Уроки, оценки, будущее, которого нет. Вы говорили нам, что литература — это про то, как люди ищут смысл. А что делать тем, кто не находит? Я не нашел. Простите меня».

Дальше — строка, зачеркнутая три раза, с остервенением, до дыр в бумаге. Но сквозь полосы читалось каждое слово: «Если бы вы тогда остановились...» Нажим пера продавил страницу, оставив рельефный след. Нестираемый, как шрам.

Рада взглянула на мать Тимофея.

— Я... — голос сорвался, ресницы невольно увлажнились.

— Не надо, — резко оборвала ее женщина, но не со злости, а в отчаянной попытке удержать себя на краю, не дать боли прорваться наружу. — Пожалуйста, не надо. Слова ничего не исправят. Они не вернут его.

Она запнулась, и подбородок ее задрожал, как у ребенка, который изо всех сил старается не заплакать. Пальцы судорожно крутили розовую резинку на запястье — ту самую, которую Тимофей, наверное, когда-то подарил ей или которую сама купила, потому что она напоминала ей о сыне. Она крутила ее до тех пор, пока резинка не врезалась в кожу, оставив на ней белую полосу, которая потом покраснеет и будет болеть.

— Он вас... — снова начала мать Тимофея, сглотнула, пытаясь протолкнуть сквозь сжатое горло слова, которые давались ей с невероятным трудом. — Вы ему были очень дороги. Он все время повторял: «Рада Викторовна — единственный человек в школе, который смотрит не сквозь меня, а в меня». Говорил это часто. Даже в тот вечер, перед тем как...

Она не смогла закончить фразу. Просто закрыла глаза, и в этом коротком жесте свернулась вся боль мира — безысходность, отчаянная надежда, которая умирает последней. Потом мать посмотрела мимо Рады, вглубь темной прихожей. На секунду ее лицо ожило — в нем мелькнула та самая безрассудная надежда, которая не покидает родителей даже после похорон их детей. Надежда на чудо: сейчас из темноты выйдет сын, скажет: «Мам, ну ты чего, я здесь», — и все окажется страшной ошибкой, дурным сном, от которого можно проснуться.

Тишина ответила ей молчанием.

Лицо несчастной женщины погасло, как догорающая свеча. Надежда схлопнулась, оставив после себя только глубокую, черную воронку боли. Она задышала часто, поверхностно, будто ей не хватало воздуха, и перевела взгляд прямо в глаза Раде. В них отражалось столько боли и отчаяния, что Рада не выдержала и тихо заплакала.

— Тимофей ошибался, да? — почти шепотом спросила мать. — Насчет того, что вы смотрите в него? Ведь если бы вы действительно смотрели, то наверняка заметили бы, что ему плохо. Вы бы остановились и уделили ему время. Правда? Он хотел говорить только с вами. Подростки такие капризные. Им кажется, что родители не заслуживают ни минуты их внимания и откровения...

Рада хотела что-то ответить, хотела сказать хоть что-нибудь, что могло бы немного облегчить эту невыносимую боль, но слова застряли в горле. Она просто стояла и сквозь слезы смотрела на эту измученную женщину, чувствуя себя виноватой, беспомощной и бесконечно уставшей.

Не дождавшись ответа, мать медленно повернулась и пошла вниз по лестнице — медленно, тяжело, держась за перила. Как ходят люди, у которых больше нет причин спешить. Силуэт растворялся в полумраке.

А Рада стояла в дверях с тетрадь в руках, глядя на зачеркнутую строку, пока строчки не поплыли перед глазами.

«Если бы вы тогда остановились...»

Она никогда не останавливалась. Ни для кого. Всегда сохраняла дистанцию — комфортную, безопасную, профессиональную — и убеждала себя, что поступает правильно. Именно так и должен вести себя хороший педагог: не переходить черту, не тратить лишнего времени, ни к кому не привязываться.

И вот итог. Мертвый ученик. Убитая горем мать. Записка, которую ей теперь перечитывать до конца своих дней.

Глава 3. Я научусь быть рядом

Ночью Рада поехала на дачу. Съёмная квартира невыносимо давила стенами — в них гулко отзывалась последняя строка. Эхо звучало нечетко, но она и так каждое слово знала наизусть.

Старая отцовская дача — покосившийся домик в сорока километрах от города, где давно никто не жил. Электричество отключили еще в прошлом году, вода только в колодце, но Раду это не беспокоило.

Она вошла внутрь. В темноте пальцы нащупали керосиновую лампу на подоконнике: отец держал ее на случай перебоев со светом. Первая спичка сломалась, вторая обожгла палец. Рада чертыхнулась — тихо, по-отцовски, сквозь зубы. Фитиль сначала задымил, ударив в нос чадающей струей керосина, потом разгорелся ровным желтым светом.

Внутри пахло мышами, сухой известью и старыми журналами «Наука и жизнь». Словом, не жильё — склеп.

Рада провела рукой по стене — штукатурка осыпалась под пальцами мелкой крошкой, оставила на ладони белый след. В углу на подоконнике лежал засохший майский жук, лапки кверху, брюшко потемнело и втянулось. Она осторожно взяла его, подержала на ладони — сухой, хрупкий, безжизненный — и положила обратно.

Время здесь остановилось, как и внутри нее. Только ее остановка произошла не два года назад, а сегодня. Когда узнала о Тимофее.

Она села на пол. Деревянные доски прогнулись, скрипнули жалобно, по-старчески. Из сумки достала методички, поурочные планы, диплом педагогического вуза, грамоту за первое место в конкурсе «Учитель года». Перебирала их медленно, не глядя на текст. Остановила взгляд только на своей фотографии в дипломе.

Тогда она еще улыбалась. Ей казалось, что все делает правильно, ее методы работают и у нее действительно получается помогать детям. А теперь знала, что мальчик из ее класса повесился. И останутся только эти бумажки — нелепое, горькое напоминание о том, как мало значит внешнее признание, когда не замечаешь, что кто-то рядом тихо тонет.

Рада прижала диплом к груди. Вдохнула запах типографской краски и горько усмехнулась. Она учила детей анализировать текст, но не смогла прочитывать крик о помощи между строк. Разбирала с девятым «Б» тургеневских «Отцов и детей», рассуждала о конфликте поколений, но не разглядела в трех метрах мальчика, который утратил смысл жизни.

Не услышала, не захотела или испугалась?

Во дворе, в старой железной бочке — отец когда-то жег в ней мусор, листву, сухие ветки — Рада разожгла огонь. Долго возилась с щепками, газетой, спички кончались. Ладони дрожали так сильно, что она не могла прицельно чиркнуть. Только с пятой попытки газета занялась. Пламя лизнуло бересту, поползло выше.

Бумаги полетели в огонь одна за другой. Рада не бросала — швыряла. С силой, ненавистью и отвращением к себе.

Грамота «Учитель года» вспыхнула мгновенно. Только золотая каемка сопротивлялась несколько секунд, потом и она провалилась в пепел. Дольше всех горел диплом. Плотная корочка не поддавалась, плавилась, пузырилась, издавала химический запах — горелый пластик и клей.

Рада смотрела на огонь, не моргая. Дым щипал глаза, слезы текли по щекам — не вытирала. Вместе с бумагой сгорало что-то еще. Учитель, который не заметил. Взрослый, который сказал «завтра». Женщина, воздвигнувшая вокруг себя стеклянную стену.

Она стояла над бочкой, пока пламя не стихло. Угли дышали жаром, потрескивали, оседали. Рада выпила полстакана холодного чая из термоса. Горло обожгло не от чая — от сухости, сдерживаемого крика, который так и не вырвался наружу.

Достала телефон. Открыла сайт вакансий. Прочитала. Курьер. Оператор колл-центра. Продавец-консультант. «Требования: коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение находить общий язык». К горлу подкатила тошнота. Находить общий язык. С кем? С собой она уже десять лет не находит.

Рада искала место, где от нее не требовали бы человечности. Не просили улыбаться, смотреть в глаза, говорить теплые слова. Где дистанция — не ее личный провал, а необходимое условие работы. Где «держаться подальше» — должностная инструкция, а не грусть.

И тут она увидела.

«Хоспис "Апостазия" приглашает сиделок. Опыт работы не обязателен. Обучение на месте. Требования: стрессоустойчивость, отсутствие брезгливости, умение соблюдать дистанцию».

Умение соблюдать дистанцию! Странное требование для сиделки, но эту строчку Рада перечитала пять раз. Шестой — вслух, шепотом. Потом тихо, беззвучно рассмеялась. Смех перешел в кашель. В глазах снова защипало — то ли от дыма, то ли от этого приступа сухого, рваного веселья.

Этому — соблюдать дистанцию — ее учить не нужно. Она — профессор дистанции, доктор наук по избеганию контактов, специалист высшей категории с десятилетним стажем. Если бы выдавали дипломы по одиночеству, она получила бы красный с отличием.

Нажала «Откликнуться». Заполнила форму — имя, телефон, в графе «Опыт работы» написала: учитель русского языка и литературы, стаж десять лет. Просто заполнила поля, проверила телефон и нажала «Отправить».

Экран погас. Рада стояла над бочкой с пеплом. Вдруг закрыла лицо руками. Ладони пахли дымом, мазутом, железом. Плечи дрожали, но не от слез — их просто не осталось. Внутри ее трясло от мелкой, безжалостной дрожи. Сжала зубы так сильно, что хрустнула челюсть.

Той ночью, вернувшись с дачи в квартиру с неработающим бойлером, Рада долго сидела на подоконнике. Любила это место — узкий подоконник старой хрущевки, куда помещалась только боком, прижав колени к груди.

Смотрела на чужие окна. Напротив, через дорогу, горел свет на третьем этаже. Женщина и мужчина обнимались на диване. Потом свет погас. Окно стало черным, пустым и безликим — просто прямоугольник тьмы. Возможно, ее душа выглядела так же: черный квадрат, в котором не загорается свет. И никогда не загорится, потому что некому туда войти. Да и не нужно.

Она просидела час. Слезла с подоконника — ноги затекли, не слушались. Пришлось держаться за стену, чтобы дойти до ванной. Открыла кран. Ледяная, колючая вода зашумела, ударила в эмалированную раковину. Бойлер не работал уже месяц — она так и не вызвала мастера.

Рада набрала воду в ладони, плеснула в лицо. Раз, второй, третий. Холод не отрезвил — обжег. По коже побежали мурашки, лицо онемело, заныли зубы. Хорошо. Боль — единственное напоминание, что она все еще жива.

Подняла голову к зеркалу, запотевшему от ее дыхания, и прошептала, почти беззвучно, одними губами:

— Ты — трусиха, потому что боялась увидеть то, что очевидно. Хотя ведь чувствовала — что-то не так. Но боялась спросить, потому что отвечать нечем.

Зеркало запотевало снова. Ее лицо исчезло за белой пеленой. Рада не стала вытирать. Вышла из ванной мокрая, не вытирая лицо. Вернулась на подоконник, взяла телефон и открыла заметки.

Написала одну фразу: «Я больше никогда не скажу "завтра"». Пальцы зависли над экраном. Стерла. Потому что это неправда. Она скажет, всегда говорит «завтра», потому что сказать «сегодня» попросту страшно.

Написала другую: «Я попробую не бояться сегодня». Снова стерла — получилось слишком громко и пафосно.

Написала третью: «Я научусь быть рядом». Перечитала, сохранила и, облегченно вздохнув, закрыла глаза.

Ветер гонял по асфальту сухие листья. Звук напоминал не шепот — предупреждение. Скребся в стекло, шуршал у карниза, пытаюсь пробраться внутрь, растормошить застывшую тишину квартиры. И прорвался — вплелся в пустоту бессонных часов, просочился сквозь тяжелую, без сновидений, темноту. Рада открыла глаза. Не проснулась — вынырнула. Резко, без перехода, с колотящимся сердцем и одним-единственным ощущением: саднит горло. Видимо, дышала ртом во сне, и холод высушил слизистую, оставив неприятную колючую сухость.

За окном серело рассветное небо — тусклое и равнодушное. Рада села, потянулась к окну. На соседнем балконе висело забытое детское платье — розовое, с выцветшим рисунком. Ветер сдувал его вправо, влево, вправо — как маятник, немой укор, отсчитывающий секунду за секундой. Она смотрела на него долго, не моргая, и в какой-то момент ей показалось, что платье не пустое — что внутри еще теплится детство, чье-то или ее собственное, такое же забытое и выцветшее, но все еще цепляющееся за веревку.

Рада отвела взгляд, поднялась и прошла на кухню. Там закипятила чайник и налила кипятка в кружку с трещиной на эмали — отцовскую. Пар поднимался слабый, почти прозрачный, и Рада наблюдала за ним, как за дыханием живого существа.

В детстве отец говорил ей, что пар — это вода, которая научилась летать. Она тогда смеялась, забиралась к нему на колени и требовала объяснить, почему тогда лужи не взлетают. Отец смеялся в ответ, подбрасывал ее к потолку и ловил. Рада помнила его руки — большие, сухие, с обкусанными ногтями, — они держали крепко, уверенно. А потом отец ушел, и она перестала верить, что вода умеет летать.

Сейчас, глядя на поднимающийся пар, Рада вдруг подумала, что, возможно, он говорил тогда правду. Может, все, что мы теряем, не исчезает, а только меняет форму. Тимофей — его узоры на полях тетради, молчание и зачеркнутая строка — тоже превратился в пар, в дыхание, во что-то невесомое, но все же реальное. Конечно, его уже никогда не вернуть, но можно навсегда запомнить.

Рада обхватила кружку ладонями. Кипяток обжег губы, язык, небо, но боли не почувствовала. Напротив, это напомнило о ее присутствии здесь и способности ощущать. Да, горячо, неудобно, обжигает. Но это и есть жизнь, от которой она так долго пряталась за вежливой улыбкой, чужими педагогическими формулами и запертой балконной дверью.

А потом будет хоспис. Запах антисептика и сладковатый аромат увядания, который ни с чем не спутаешь. За закрытой дверью мужчина с серыми глазами играет на пианино что-то старое, негромкое и грустное, похожее на прощание, но не окончательное. Стеклопанель перегородки, к которой она прижимает ладонь, не боясь, что с той стороны ответят тем же.

Но все это — потом, через несколько дней. А сейчас — кружка с трещиной, рассвет за мутным окном и отражение, которое больше не казалось ей чужим черным квадратом.

Рядом на столе лежал телефон. Одна заметка, четыре слова: «Я научусь быть рядом». Рада перечитала и впервые за долгое время не ощутила внутри привычной пустоты. Только тишину — сосредоточенную и чистую, какая бывает перед важным шагом.

Глава 4. Не входить без стука, не прикасаться без разрешения

Хоспис «Апостазия» размещался за городом, в бывшей барской усадьбе. В советское время его перестроили в закрытый санаторий для партийных работников с нервными расстройствами. Старое двухэтажное здание: облупившаяся лепнина, заколоченные балконы, высокая арка центрального входа. Над аркой сохранился выцветший барельеф — то ли ангел, то ли муза с лирой в руках.

Парк вокруг зарос, и ветви яблонь переплелись над аллеями, образуя живые тоннели. Дорожки, однако, оставались расчищенными: обитатели могли гулять, если находили силы. Некоторые гуляли, но большинство предпочитали оставаться в палатах.

Рада вышла из автобуса на пустой остановке и постояла минуту, привыкая к тишине. Городской шум остался позади. Здесь слышались только ветер, ворошащий сухие листья, и далекий стук дятла по трухлявому стволу.

На асфальте у скамейки кто-то выцарапал гвоздем: «Не стой слишком близко». Что это — первое негласное наставление?

— Класс, — буркнула она, переобуваясь в сухие кроссовки прямо на остановочной скамейке. — Просто класс.

Стопы ныли после долгой дороги. Боль оказалась почти приятной, заземляющей и напоминала о том, что она все еще передвигается в физическом мире, а не зависла в безвоздушном пространстве между прошлым и будущим.

Затем поправила на плече лямку сумки и направилась к воротам. На табличке значилось: «Хоспис "Апостазия". Частное заведение паллиативной помощи». Ниже — приписка от руки, приклеенная скотчем, с подтеками от дождя:

«Не входить без стука. Не прикасаться без разрешения».

Перечитала эту фразу трижды, и каждый раз по спине пробегал холодок узнавания. Предупреждение это отдавало не столько строгостью, сколько обреченностью — так пишут правила для тех, кто уже нарушил их ценой собственной кожи. Со временем она привыкнет, и это сообщение станет ее собственным законом. Но пока — только холодок вдоль позвоночника, который она списала на порыв ветра. И еще: казалось, что табличка адресовалась лично ей, как записка, подсунутая под дверь.

Она нажала кнопку звонка. Где-то в глубине здания раздалась трель — длинная, старая, с дребезжанием, выдававшим возраст проводки. Через минуту дверь открыл мужчина лет шестидесяти с лишним — высокий, сутулый, с коротким ежиком седых волос и незажженной трубкой в зубах, мундштук затерт до блеска. На нем болтался мятый белый халат поверх клетчатой рубашки, на ногах — стоптанные кожаные тапки. Он окинул Раду быстрым, цепким взглядом — так врач осматривает пациента за секунду до первого вопроса, — и ей захотелось выпрямить спину, убрать волосы за уши.

Рада уже не помнила, когда в последний раз кто-то смотрел на нее с таким спокойным, оценивающим вниманием, без примеси жалости или равнодушия. Ей вдруг стало стыдно за свою усталость, дорожную пыль на кроссовках и за то, что принесла с собой чужие ожидания, не зная, куда их деть.

— Вы Рада? — в его голосе смешались усталость и любопытство.

— Да.

— Марк Аронович. Главврач. Проходите, не стойте на сквозняке.

Они пошли по коридору, и звук шагов тонул в толстой ковровой дорожке темно-бордового цвета, вытертой до основы в центре. Вдоль плинтуса тянулась тонкая линия из разно-

цветных меток. Видимо, кто-то из пациентов оставлял их, чтобы не заблудиться, если коридор вдруг расплывется перед глазами. А уборщицы не стирали метки, чтобы не лишать пациентов этой хрупкой, пусть и нелепой опоры.

Пахло старым деревом, лекарствами и еще чем-то. Может, временем, законсервированным в этих стенах вместе с историями пациентов, приехавших сюда умирать или, наоборот, учиться жить в новых, невозможных условиях. Запах оседал в легких — густой, спертый, пропитавший собой каждую пору здания.

На полпути им встретилась женщина в сером больничном халате. Она стояла у окна, прижав ладонь к холодному стеклу, и беззвучно шевелила губами. Марк Аронович легонько кивнул ей и прошел мимо.

— С кем она говорит? — тихо спросила Рада.

— С тем, кто остался за окном. Или с тем, кого никогда за ним не было. Мы не спрашиваем.

На стенах висели картины в простых деревянных рамах: пейзажи, натюрморты, абстракции. Под каждой — небольшая табличка с именем и датой: «Кира М. "Вид из окна № 3", 2023», «"Натюрморт с трубкой", 2024».

Рада замедлила шаг, всматриваясь в работы, которые не походили на ученические опыты. В них чувствовалась рука если не профессионала, то человека с редким даром видеть цвет и свет даже там, где обычный глаз не нашел бы ничего, кроме серости.

Она задержалась у одной из картин: осенний сад, мокрая скамейка, пустая аллея, уходящая в туман. Краски легли густо, пастозно, и в самом мазке читалось напряжение — так сжимают кисть, когда нельзя сжать ладонь родного или любимого человека.

— Это написала пациентка? — спросила Рада, не отрывая взгляда от холста.

— Она самая, — подтвердил Марк Аронович, остановившись рядом. — Кира. Ей двадцать пять. Апостазия. Родители отказались, когда поняли, что не смогут ее обнять без последствий. Здесь уже два года. Рисует. Это ее способ контакта с миром, который она не может трогать. Она выплескивает в краски всю ту нежность, что копится внутри, как вода в переполненном резервуаре, и не находит выхода.

— Что такое апостазия?

Марк Аронович указал трубкой на дверь с табличкой «Ординаторская»:

— Зайдите. Я объясню.

Ординаторская — маленькая комната, заставленная шкафами с папками и старым монитором, на экране которого медленно плавала заставка: аквариум с цифровыми рыбками. На подоконнике, среди горшков с засохшей геранью, стояла кружка с надписью «Лучшему врачу» — подарок, давно превратившийся в карандашницу. Рядом пристроилась пепельница из гнутого стекла, полная скрепок.

Среди папок и распечаток на краю стола лежал сложенный вдвое лист бумаги с детским почерком: «Спасибо, что не трогали». Марк Аронович машинально прикрыл его ладонью, точно извиняясь за чужую уязвимость.

Он сел за стол, Рада — напротив, на жесткий стул с продавленным сиденьем. Главврач принялся вертеть трубку в пальцах. Пауза затянулась, и в этой тишине нарастало напряжение — не неловкое, а рабочее, как перед важным диагнозом.

— Апостазия — редкое неврологическое расстройство, — начал главврач тоном лектора, который читал этот курс уже сотню раз, но до сих пор не утратил к нему интереса. — Не врожденное, приобретенное. Чаще всего проявляется после сильной психологической травмы, связанной с утратой или предательством близкого человека. Механизм такой: мозг пациента замыкает две нейронные цепочки — любовь и агрессию. В норме они работают параллельно, не пересекаясь. У наших пациентов они сцеплены намертво, и любой тактильный контакт с объектом привязанности запускает одновременно и нежность, и реакцию «бей или беги». При-

чем «бей» почти всегда побеждает — эволюционно эта цепочка старше и сильнее. Представьте себе: вы тянетесь к любимому человеку, а ваше тело реагирует на это приближение так, будто на вас замахнулись. Пациент осознает абсурд происходящего, но контролировать импульс не в состоянии. Сознание кричит: «Это мой родной человек», а лимбическая система уже дала команду защищаться. И эти два сигнала идут одновременно, раздирая человека изнутри.

— То есть они не могут прикасаться к тем, кого любят? — уточнила Рада и подалась вперед, невольно вцепившись в край сиденья.

— Именно. Чем сильнее чувство, тем разрушительнее последствия. Объятия вызывают паническую атаку — удушье, тахикардию, ощущение смертельной опасности. Поцелуй — приступ ярости, который пациент не контролирует и потом не помнит. Секс исключен полностью. При этом они способны испытывать всю гамму чувств на расстоянии: обожать запах, голос, изображение, воспоминание. Могут любить отсутствие, но не присутствие. Способны любить человека, которого нет рядом, с такой силой, которая нам недоступна, потому что у нас чувство притупляется привычкой, а у них каждая встреча — заново пережитая утрата.

Где-то глубоко внутри нее шевельнулось узнавание — острое, почти болезненное. Она сама годами любила отсутствие. Выстраивала отношения с теньями, с воспоминаниями, с теми, кто ушел. Когда Вадим впервые попытался взять ее за руку в кинотеатре — еще на третьем курсе, до всей этой пропасти между ними, — Рада отдернула пальцы. Потом солгала про холодные руки. А теперь сидела в ординаторской хосписа и примеряла на себя симптомы болезни, как старое, давно сидящее по фигуре платье.

— Сколько здесь пациентов? — спросила она спокойно, почти безразлично, и осталась довольна собой.

— Двенадцать. Частное учреждение, мы не можем позволить себе больше. У каждого — отдельная палата, свой распорядок, своя история. Правила вы уже видели при входе: не входить без стука, не прикасаться без предупреждения, не принимать агрессию на свой счет. Это не характер, не воспитание и уж тем более не злая воля. Это нейробиология. Вы — не причина их приступов, вы — триггер. Разница огромная, и от того, как быстро вы ее усвоите, зависит, продержитесь ли вы здесь дольше недели.

— Я понимаю.

— Правда?

— Да, — подтвердила Рада, не отводя глаз.

— Это хорошо, — кивнул Марк Аронович, видимо, удовлетворенный ее решимостью. — Но понимать умом и чувствовать кожей — разные вещи. Многие сиделки уходят через неделю, некоторые — через день. Не могут выдержать, когда на них кричат люди, которым они хотят помочь. Противоестественно. Мы привыкли, что помощь — прикосновение. Здесь помощь — дистанция. Вы сумеете?

Он смотрел на нее в упор, не мигая, и трубка замерла в его пальцах. Перед глазами Рады встали пустая парта, Тимофей, его записка: «Если бы вы тогда остановились...»

Вспомнила, как сама шарахалась от прикосновений — дружеских объятий, случайных касаний в транспорте, руки Вадима на своем плече. Как мать ни разу не обняла ее после ухода отца, потому что объятие означало слабость, а слабость в их семье считалась болезнью. Как в выпускном классе соседка прижала ее к груди, чтобы поздравить, а Рада застыла истуканом и простояла так до тех пор, пока чужие руки не отпустили ее.

Внутри с тех пор что-то одеревенело и осталось на долгие годы.

— Я сумею, — сказала она с твердостью, которую сама в себе не ожидала.

Где-то под ребрами медленно, тягуче проворачивался не то страх, не то надежда. В этот момент Рада поняла, что согласилась на эту работу не просто так. Она приняла правило, которое уже давно укоренилось в ней: держаться на расстоянии, чтобы не причинить боль ни себе, ни другим.